

“освоены”: осуществление под государственной эгидой заделных производственных инвестиций с максимально возможным финансовым результатом, гибкая и во многом компромиссная антиинфляционная политика немонетаристской направленности, очень жесткие и вместе с тем долговременно просчитанные изменения в приватизационной политике на отдельных сегментах рынка, эффективное проведение операций с облигациями долгосрочных займов на длительный период и др.

Тем не менее, на наш взгляд, антиципационный маневр может быть претворен в жизнь в случае твердого следования стратегии активного структурного регулирования. Как следует из ранее сделанных выводов, решающей предпосылкой успешного участия государства в долгосрочных производственных инвестициях является эффективное структурно-избирательное регулирование текущего экономического оборота. В свою очередь главным итогом регулирования такого рода должно стать достижение текущей стабилизации, означающее переход к умеренной предсказуемой – антиципируемой инфляции, если пользоваться зарубежной терминологией, и прекращения производственного спада.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Л.В. Бабаева,

кандидат философских наук
(Институт социологии РАН)

Л.А. Резниченко

(редакция журнала "Человек")

**“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА”:
МЕЖДУ ИДЕОЛОГИЕЙ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ¹**

Всякая идеология стремится в своем систематическом развитии к такой точке, где эффективность ее измеряется не тем, насколько верят в идеологию люди и сколь много таких людей, а тем, чего она не дает подумать и не дает сказать.

М.К. Мамардашвили²

В исследовании российской элиты, в котором мы участвуем, с использованием методов качественно-количественного анализа рассматривается содержание суждений наших респондентов – представителей элиты по всей выборке. Теперь мы сосредоточимся на одном, достаточно специфичном, ее сегменте: на ученых и журналистах – тех, кого мы отнесли к “интеллектуальной элите”.

Нас будут интересовать характерные для “интеллектуальной элиты” особенности восприятия социальной реальности, глубина и характер рефлексии, а также неявные, невербализуемые предпосылки и установки – “исходные мифологемы”, которые лежат в основе рассуждений и оценок. А поскольку эти предпосылки, как и следует из их определения, в явном виде в текстах не формулируются, нам придется обращаться к наиболее очевидным их манифестациям, в частности, к противо-

¹ Из коллективной работы “Российская элита: опыт социологического анализа. Часть III. Особенности сознания элиты”. Под редакцией **К.И. Микельского**. В работе излагаются результаты исследования, проведенного Исследовательской социоэкономической ассоциацией, Институтом проблем занятости РАН и Минтруда РФ и Институтом социологии РАН при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 95-06-32017 по проблеме “Россия от настоящего к будущему”).

² Мамардашвили М.К. Язык осуществившейся утопии. Искусство кино. 1993. № 7

речиям и явным “лакунам” – очевидным или общеизвестным фактам и обстоятельствам, которые респонденты в своих рассуждениях сознательно или бессознательно игнорируют. Именно интеллектуальная элита – наиболее благодарный объект для такого рода анализа: ведь у ее представителей игнорирование хорошо известных, а то и очевидных фактов и обстоятельств или непоследовательность в рассуждениях меньше всего можно объяснять случайностью, отсутствием привычки к систематическим рассуждениям или незнанием.

Везде, где возможно, мы будем опираться на наблюдения и выводы, сделанные в предыдущих главах, и прямо ссылаться на них. Однако ограничиваться их детализацией и конкретизацией мы не сможем. Дело в том, что методы контент-анализа, да и любые другие формальные процедуры лишь ограниченно применимы для характеристики данных особенностей и механизмов сознания и их манифестаций. Любой выход за пределы наличного текста, любые интерпретации, соотносящие этот текст с какой-то “внетекстовой реальностью”, слишком сильно зависят от учета никак не формализуемых и даже до конца не вербализуемых факторов, эту “реальность” образующих. А факторов этих – бесконечное множество, и выбор их нельзя подчинить каким-то формальным процедурам. Так что методы здесь должны быть не столько формальными, сколько “герменевтическими”, при всех недостатках этих последних: ограниченной воспроизводимости результатов, недостаточной строгости и т. п. Соответственно, мы постараемся свести к минимуму цитирование текстов интервью: при выбранном нами методе анализа цитаты сами по себе мало что доказывают. К тому же сами тексты уже изданы в более или менее полном виде, и любой заинтересованный читатель легко может обратиться к ним, чтобы верифицировать (или, напротив, опровергнуть) наши выводы.

В предыдущих главах мы рассматривали лишь ответы на вопросы первого блока, касавшегося общей оценки ситуации в стране. В настоящей главе мы “задействуем” и ответы на вопросы второго блока, затрагивавшего экономическую ситуацию. Вопросы в этих двух блоках строились принципиально по-разному. В первом в формулировке вопросов сознательно включались “горячие” понятия, наиболее привычные для российского обществоведения и публицистики и сильнее всего нагруженные идеологическими и методологическими ассоциациями. Это, по нашему мнению, позволяло наиболее отчетливо выявить стереотипы и основные “рамочные категории” мышления респондента. Формулировки второго блока вопросов, связанного с отношениями собственности, напротив, были рассчитаны на максимальное “отстранение” от идеологических и мировоззренческих ассоциаций и должны были освободить респондента от давления привычного идеологического и мировоззренческого контекста.

Ответы на вопросы остальных блоков плана интервью оказались с данной точки зрения малоинформативные и мало что добавляют к материалу первых двух.

Конкретные имена респондентов, чьи высказывания навели нас на те или иные выводы, здесь не слишком важны: нас ведь интересует не развенчание или апология тех или иных лиц, а наблюдения, пусть предварительные и не абсолютно доказательные (“абсолютно” доказать здесь ничего нельзя), касающиеся некоторых особенностей нынешнего состояния “профессиональной” общественной науки и общественной мысли в России. Тем более, что мы никоим образом не ставим под сомнение компетентность кого-то из наших респондентов: компетентность эта “сертифицирована” самим их положением в интеллектуальной элите. Более того, только “презумпция компетентности респондентов” и сообщает значимость и информативность упомянутым лакунам и противоречиям. Это, кстати, и делает тексты интервью особо ценным источником подобной информации. Ведь неявные установки и “мифологемы” проявляются именно в “проговорах”, а при подготовке статей теми же авторами подобные красноречивые “шероховатости” вообще бы могли не пройти через “фильтры сознания”.

1. Два “пучка” отношений: умеренная поляризация

Как можно было видеть из предыдущих глав, представители “интеллектуальной элиты” мало отличались от остальных групп респондентов и по содержанию оценок, и по их разбросу, и по особенностям аргументации (включая и случаи отсутствия аргументов). И уже это не может не настораживать. По своим политическим и иным взглядам ученые-обществоведы, разумеется, могут и не отличаться от политиков, государственных деятелей, бизнесменов, но по содержанию своих суждений и уж, во всяком случае, по особенностям подхода, аргументации, по количеству принимаемых во внимание факторов отличия должны были бы быть весьма значительными.

Однако это так, и последующий анализ во многом сведется к конкретизации применительно к интеллектуальной элите общего вывода, сделанного в предыдущей главе относительно элиты в целом: о близости сознания элиты обыденному сознанию, причем в его весьма идеологизированной форме.

Что же касается позиций респондентов по ключевым вопросам, затрагиваемым в интервью, – они, как и у всех остальных участников опроса, оказались размыты по всему существующему спектру – от восприятия происходящих перемен как необходимых и, в конечном счете, благотворных, а сопутствующих им издержек как неизбежных – до резкого осуждения всего происходящего и обвинения действительных или

предполагаемых субъектов этих процессов в полной некомпетентности, в безумии или в преступлениях, подпадающих под статьи уголовного кодекса. Все эти взгляды не то что обкатаны, но и пережеваны и в научной, и в массовой печати, и останавливаться здесь на их содержании нет необходимости.

Впрочем, одно вполне информативное отличие все же обнаруживается: как было видно уже из предыдущих глав, ученые из нашей выборки (с журналистами положение несколько иное) в целом оценивали происходящие процессы более негативно, чем представители не только органов управления (что вполне естественно), но и бизнес-элиты, и даже чем политические деятели. Если учесть, что эти последние по большей части не находились у власти и для них оппозиционность диктовалась самим их положением, – то подобный “негативизм” ученых представляется весьма любопытным.

При этом даже “на глаз” выделяются, как минимум, два доминирующих “пучка” отношений (подсчитывать корреляции различных оценок и суждений на столь ограниченной выборке при неформализованных ответах не имело смысла).

Общий негативизм и восприятие происходящего как “катастрофы”, как правило, хотя и не всегда, сочетаются с утверждениями о “собственном пути” России, с жалобами на упадок нравственности, с утверждениями о необходимости в России не просто мощного, но практически определяющего госсектора; не всегда, но нередко они сочетаются и с утверждениями о “врожденном”, “традиционном”, “извечном” коллективизме русского народа и о неприятии им “западного капитализма”, “идеалов наживы” и т. п., а также с трактовкой особенностей сложившегося в России экономического и социального уклада – как дореволюционного, так и советского – не как стадийной особенности или “зигзага” развития, а как особенности типологической. Сюда же примыкают идеи “державности” – приоритета и доминирующей роли государства и его особых, самостоятельных интересов (чаще всего неявно имеются в виду внешнеполитические интересы) не только в экономике, но и в остальных сферах жизни. Для этой группы более характерно, чем для других, и то, что можно назвать “презумпцией управляемости” и “презумпцией рационального планирования общества” – неявная убежденность в том, что наших знаний об обществе достаточно, чтобы научным образом определять его цели и планировать пути развития и что даже в периоды резких социальных перемен и кризисов ход социальных процессов, поведение социальных субъектов поддается управлению в самых широких пределах. Но определенные “следы” этой убежденности можно встретить и у тех, кто оценивает происходящее и исторические судьбы России и не в “левопатриотической” и коллективистской перспективе.

Второй “пучок” отмечен восприятием “исторических особенностей” России либо как стадиальных черт, либо как частных особенностей, которые не могут отменить действия общемировых закономерностей. У носителей таких взглядов подход к оценке ситуации в целом и ее отдельных аспектов (например, к оценке роли и функций государства) более прагматичен, они больше ориентированы на текущие частные проблемы и существующие тенденции и на профессиональные проблемы своей науки – особенно если это экономисты. Однако это именно “пучки”, а не четко очерченные группы – немало респондентов обнаружили “промежуточные”, или “смешанные” отношения, да и степень выраженности их оказалась различной. Так что здесь можно говорить об умеренной поляризации: “смешанные формы”, “центр” проявляется гораздо слабее, чем “полюса”, но все же присутствует.

2. Особенности рефлексии в восприятии ситуации

Прежде всего, у многих ученых неожиданно высокой оказалась идеологизированность рассуждений. Она, может быть, и не выше, чем у политиков, но бросается в глаза сильнее: возможно, потому, что для политика она нормальна и семантически не отмечена, т. е. ни о чем не свидетельствует. Напротив, для ученого при рассуждении на профессиональные темы идеологизированность – это нарушение нормы профессионального дискурса, и ее частные проявления свидетельствуют о каких-то специфических процессах или особом состоянии, переживаемом научной средой. Особенно если эта идеологизированность проявляется настолько остро, что заставляет ученого пренебрегать азбучными истинами своей собственной науки. А в наших интервью случалось и такое. И несмотря на наше намерение по возможности избегать цитирования, несколько цитат здесь все же придется привести – не как доказательство, а для иллюстрации того, что мы имеем в виду.

“Взяточничество, которое бывает при либерально-капиталистическом строе, просто на порядок выше [чем при социализме], потому что... там прибыль является чуть ли не священной категорией” – утверждает, например, известный российский экономист левопатриотической ориентации. Подчеркнем: речь в высказывании идет даже не о капиталистическом строе вообще, а именно о “либерально-капиталистическом” – том, где вмешательство государства в экономику минимально. Пафос антилиберализма оказался настолько силен, что заставил безусловно компетентного экономиста, специально занимавшегося вопросами экономической преступности, забыть о выводе практически всех выполнявшихся в мире анализов: взяточничество тем сильнее, чем выше зависимость экономического субъекта от представителей органов власти, иными словами, чем ниже уровень “либерализма”.

Тот же экономист утверждает, что “основной конфликт эпохи” в терминах экономических – конфликт “национально ориентированных государственно-управленческих кадров” с “предпринимателями-компрадорами, ориентированными на личные интересы”, поскольку “национальные предприниматели, ... как правило, разоряются, им не выгодно производить продукцию, потому что сейчас приоритет отдается только спекулятивному капиталу, это специально такая норма...”

Мы намеренно выбираем не те суждения, с которыми можно было бы полемизировать. В данном случае для любого экономиста (и мы не думаем, что автор высказывания является исключением) очевидно, что преимущества, получаемые сегодня спекулятивным капиталом, – прямое и автоматическое следствие несбалансированности рынка при наличии элементарных экономических свобод. И чем дольше будет поддерживаться эта несбалансированность, тем дольше спекулятивный капитал будет эти преимущества сохранять. Но сформулировать проблему в профессиональных терминах – значило бы признать закономерный и необходимый характер эпохи “спекулятивного капитала”, либо выступить со слишком уж явным осуждением даже зачаточных экономических свобод и элементов рыночного регулирования в пользу регулирования административного (“национально ориентированных управленческих кадров”). Это, видимо, также представляется идеологически неприемлемым. И вот элементарное и естественное, с точки зрения экономической науки, явление “переформулируется” как борьба “патриотов” с “эгоистами”.

Здесь же можно упомянуть и встречающееся у некоторых политологов и даже экономистов утверждение, что доля госсобственности в России должна быть выше, чем в других развитых странах, потому что на государство здесь возлагаются гораздо большие социальные обязательства и оно должно располагать для этого достаточными средствами. Трудно представить, чтобы наши респонденты не знали, что объем средств, находящихся в распоряжении государства, зависит не от формы собственности на предприятия, а от эффективности их работы и, соответственно, от возможности сбора налогов. И что национализация тех или иных предприятий или отраслей промышленности на Западе, когда она происходила, вызывалась отнюдь не фискальными соображениями, а вот денационализация, приватизация, напротив, всегда была обусловлена именно требованием улучшить состояние бюджета. Еще труднее представить, что те же респонденты не знают о расхожих обвинениях в адрес правительственной программы приватизации в том, что едва ли не единственной ее целью было любой ценой “сбыть с рук” промышленность, освободить бюджет от бремени дотирования предприятий (как известно, эта задача по-настоящему так и не была решена).

Или еще пример: один из наших самых известных социологов аргументирует невозможность капиталистического развития России тем, что в Западной Европе капитализм “строился несколько веков. А за счет чего? За счет эксплуатации почти половины земного шара. Оттуда выкачивались ресурсы, – вот на чем строился капитализм”. И снова трудно заподозрить известного социолога в незнании “школьного” факта, что несколько веков капитализм “строился” только в Западной Европе XVII– XIX веков, когда вообще все социальные и технологические процессы шли достаточно медленно. А в конце XIX и, тем более, в XX веке во многих странах Азии, да и в той же России он “строился” в течение нескольких десятилетий, а то и быстрее – в зависимости от того, что именно понимать под “капитализмом”. Не может наш респондент не знать и того, что “за счет эксплуатации более чем половины мира” и “выкачивания ресурсов” капитализм не строился: как раз страны, которые первыми “обзавелись” колониальными империями, – Испания, Португалия – “построили” капитализм едва ли не позже всех в Западной Европе, а та же Германия, например, вообще не имела достойных разговора колоний. Да и вообще о “выкачивании ресурсов” можно говорить лишь с конца XIX века, когда средства транспорта позволили перемещать большие объемы грузов на большие расстояния, а до того – те самые несколько столетий – речь шла в основном о “колониальных товарах” (кофе, пряности, тростниковый сахар), отнюдь не игравших решающей роли в социально-экономическом развитии соответствующих стран.

Естественно, все эти “школьные” факты известны нашим респондентам не хуже, чем нам. Но, с другой стороны, смешно было бы трактовать подобные утверждения как сознательную подтасовку: сама их прямолинейность, отсутствие всякой маскировки свидетельствует, что их авторы противоречий не замечают. Вероятно, дело в другом. Интервью брались в очень горячий для нашего общественного сознания период, идеологически мотивированное неприятие чужой точки зрения в тот момент должно было быть особенно сильным, и любые аргументы, подтверждающие “правильную” точку зрения, казались вполне “валидными”. Это – нормальное состояние идеологизированного, политизированного сознания. Интересно здесь лишь одно: идеологические и, возможно, моральные императивы, действующие на уровне обыденного сознания, оказались для специалистов сильнее нормы профессионального анализа и профессионального дискурса, а порой даже и той “нормы”, которая требует от профессионала либо считаться с элементарными постулатами и фактами своей науки, либо в явном виде опровергать их применимость к обсуждаемой ситуации.

Более мягко и не так заметно те же механизмы проявились в удивительно широком использовании идеологически нагруженных поня-

тий-стереотипов. Подобное использование мы уже отмечали в предыдущих главах. Представители интеллектуальной элиты и в этом отношении мало отличались от остальных групп респондентов. Отличие в другом: зачастую метафоры и стереотипы встречаются в контексте весьма пространных теоретических по форме рассуждений и функционально занимают место (и претендуют на роль) понятий аналитических и теоретических. Ну и, разумеется, в том, что для представителей общественной мысли использование стереотипов вообще можно считать феноменом семантически значимым, “отмеченным” в указанном выше смысле.

Использование стереотипов в интервью во многих случаях маскируется тем обстоятельством, что многие из них действительно используются в литературе в качестве аналитических понятий. Характер стереотипов они приобретают не сами по себе, а в силу контекста, сообщаемого им сильную оценочную компоненту и мощные идеологически нагруженные ассоциации (в соответствующих главах мы приводили примеры высказываний, где именно этот фактор, по нашему мнению, и определял выбор того или иного понятия из предложенного списка), в сочетании с очевидной некорректностью использования данного понятия для описания именно данной ситуации – по крайней мере, без специальных разъяснений.

Примером здесь может служить, например, понятие “новая номенклатура”, широко используемое респондентами в ответах на вопрос, в чем конкретно в наших специфических условиях может выражаться реальный контроль над собственностью и кому он сегодня принадлежит.

Как аналитическое понятие “номенклатура” вошла в оборот со времен выхода широко известной книги А. Восленского с тем же названием. Восленский сравнительно четко описал характерные признаки этой социальной группы, в том числе и системные, связывающие понятие “номенклатура” со всей системой существовавших социальных отношений, и прежде всего с механизмом профессионального продвижения и замены кадров. С этой точки зрения понятие “новая номенклатура” как аналитическое понятие довольно бессмысленно и фактически представляет собой публицистическую метафору, призванную подчеркнуть отсутствие реальных перемен в распределении власти и полномочий с сильной коннотацией косвенного осуждения прежнего, “номенклатурного”, порядка.

Метафора эта имеет полное право на существование, но в устах (пусть даже “в устах”, а не на страницах) обществоведа, анализирующего конкретные процессы, ее употребление кажется уже не вполне уместным. Особенно если эта метафора, с ее явным критическим в адрес прошлого зарядом, помещается в чуть ли не ностальгический контекст. Зато она обеспечивает необходимую для “политической респек-

табельности” “ауру” критического подхода к прежнему режиму (без необходимости отмежевываться от него), и гораздо более сильный критический заряд по отношению к режиму нынешнему. А заодно полностью избавляет от необходимости действительно трудного и непривычного для нашего обществоведения дифференцированного анализа сложной “игры сил”: взаимоотношения и соотношения властей различного уровня и субъектов экономической деятельности, сложных и противоречивых механизмов формирования и взаимодействия правящих элит разного уровня и т. п. А вот любое пояснение метафорического характера этого понятия, любая попытка осмыслить сферу его применимости сразу обнаружили бы для самого респондента отсутствие подобного анализа и вынудили бы его по-разному формулировать свое отношение к разным группам и процессам, что пришло бы в явное противоречие с ценностно-идеологическим “зарядом” высказываний.

Другой подобный стереотип – “шоковая терапия”. Эта метафора в свое время также приобрела статус аналитического понятия и широко используется для описания вполне определенной экономической стратегии переходного процесса: одноразовой либерализации цен при резком ограничении роста денежной массы, сопровождающейся массовым банкротством предприятий и, соответственно, быстрой, но крайне болезненной “санацией” не только на макроэкономическом, но и на микроэкономическом уровне. Очевидно, что применительно к России, которая растянула финансовую стабилизацию уже более чем на пятилетку и практически не знает ни процедуры банкротств, ни даже сколько-нибудь адекватного падению производства сокращения численности персонала предприятий, это понятие можно использовать лишь как не вполне корректную метафору. Однако метафора эта используется порой без всяких оговорок во вполне “профессионально-экономическом” контексте как аналитическое понятие, описывающее и объясняющее экономическую ситуацию в России на момент интервью (а фактически, видимо, маскирующее от самого автора отсутствие описания и объяснения).

Еще один стереотип, отмеченный в предыдущих главах. – “конвергенция”, на которую многие респонденты указывают как на альтернативу выбору между “капитализмом” и “социализмом”, состоящую в заимствовании каждым из этих обществ определенных черт другого. “Нужен третий путь, которого мы придерживаемся, – это путь конвергенции, то есть объединения, заимствования лучших элементов, которые были в государственном бюрократическом социализме, и в том же бюрократическом капитализме”, – утверждает один из респондентов. Правда, как уже отмечалось, термин “конвергенция” предпочитали политики и представители органов власти, а ученые чаще говорили о “постиндустриальном обществе”. Но, во-первых, некоторые из ученых

также ссылались на “конвергенцию”, а во-вторых, в теории стадий экономического роста Уолта Ростоу, вне которой эти понятия не имеют теоретического смысла, они тесно взаимосвязаны: там “капитализм” и “социализм” – это две типологически (отнюдь не стадийно) различные формы “индустриального общества”; “постиндустриальное общество” – это состояние общества на следующей стадии его развития, когда многие характерные черты обеих форм индустриального общества либо отойдут в прошлое, либо изменятся до неузнаваемости и само различие потеряет смысл; наконец, “конвергенция” – это одна из характеристик процесса развития обоих обществ на этапе перехода от индустриальной к постиндустриальной стадии – эволюция этих обществ в направлении новой, общей для всех формы. Термин был заимствован из биологии, где он обозначал именно эволюцию органов у разных биологических видов к сходным формам под влиянием сходства функций, и уже по одному этому он не мог обозначать механического смешения, заимствования черт друг у друга. Впрочем, основные моменты “конвергенции” – развитие в рамках западного общества институтов социального обеспечения и обретение государством определенных регулирующих функций в экономической жизни – просматривались уже в “новом курсе” Рузвельта и “социальном рыночном хозяйстве” Эрхарда, и, следовательно, практически не выходили за рамки очередной стадии имманентного развития “капитализма”. Это любопытным образом признает и уже цитировавшийся левый экономист: “Мы стоим на пороге нового синтеза, имеются ли в виду реально существующие в ряде стран социализированные модели капитализма или какая-то капитализированная система социализма”. Однако реальное осуществление того, что наш респондент называет “конвергенцией” в странах, которые относятся к “капитализму”, не мешает тому отрицать “реальный капитализм” в пользу ожидаемой “конвергенции”.

И вновь объяснить эти теоретические странности может лишь идеологическое мотивирование: освобожденное от критической рефлексии, понятие “конвергенция” оказывается для респондентов-обществоведов идеологически “удобным” – избавляет их от необходимости в явном виде отказываться от “социалистического выбора”, не теряя “прогрессивности”. Тем более, что понятие конвергенции использовал А.Д. Сахаров в своем раннем трактате “О прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе” (1968 г. – время, когда он разделял идеи Пражской весны и “социализма с человеческим лицом”). Тот же респондент, говоря о конвергенции, прямо ссылается на А.Д. Сахарова.

Существенно здесь то, что содержание понятия “конвергенция”, практически никак не определенное вне теории Уолта Ростоу, позволяет любые импликации и даже экспликации, а размытый характер

“повернутого” подобным образом понятия маскирует лакуны и противоречия. Так, уже цитированный нами социолог объясняет необходимость “конвергенции” тем, что “основа капитализма” – погоня за прибылью – по существу, гибельна для общества”. Какие “лучшие элементы капитализма” останутся для заимствования, если убрать стремление к извлечению прибыли в условиях конкуренции как ведущий мотив экономической деятельности и критерий ее успешности, – такой вопрос не ставится.

Столь же стереотипными являются, как правило, употребления понятий “капитализм” и “социализм” – о некоторых “вольностях” в трактовке этих привычных нам терминов можно судить даже из приводимых выше цитат и пересказов.

Несколько таких стереотипов были сознательно включены в список категорий, предложенных респондентам для характеристики исторической ситуации России. Некоторые из этих понятий в рамках соответствующих теорий тоже нагружены весьма серьезным теоретическим содержанием. Однако ни один из респондентов не обратил внимания ни на “стереотипный” характер этих категорий (за исключением понятий “капитализм” и “социализм”, от которых предпочитали просто отмахиваться), ни на “теоретический контекст” предложенных понятий. Так, в рассуждениях о “трансформации” практически нет ссылок на хорошо изученный историками, да и специалистами по исторической социологии, феномен “революции сверху”; при обсуждении понятия “модернизация” лишь один респондент сослался на теории модернизации (назвав их, впрочем, “теориями трансформации”), что не помешало ярко антимодернизаторскому пафосу его интервью. Сам респондент при этом даже не обратил внимания на противоречие своих утверждений содержанию всех существующих версий теории модернизации, на которые он – в общем виде – ссылался.

Во многих высказываниях обращает на себя внимание отсутствие попыток проанализировать или хотя бы учесть причинно-следственные связи, в том числе и между явлениями, отмечаемыми в самом интервью. Так, один из наиболее известных специалистов по политической экономике, давший, кстати, наиболее теоретически развернутое и систематизированное интервью, жалуется на “разрушение научно-технического потенциала, разрушение, в ряде случаев безвозвратное, национальной культуры, ... падение нравов” как на результат ошибочной политики правительства. И даже не задается вопросом: а возможно ли за три-четыре года уничтожить научно-технический потенциал, нравственность и национальную культуру, к тому же не какими-то целенаправленными действиями по их разрушению, а просто допущением ряда экономических и культурных свобод, из-за которых эти сферы лишились прежней массивированной государственной поддержки: и освободи-

лись от жесткой цензурной регламентации. И если это все же возможно, – то не была ли подобная культура и нравственность лишь видимостью и не был ли столь уязвимый научный потенциал патологичным?

Объясняют, что надо было “на основе той мощной индустриальной промышленности, которая у нас сложилась, переходить к постиндустриальному обществу” (в той или иной формулировке такое утверждение содержится во многих интервью ученых), – и никто не задается вопросом: а почему, достаточно быстро выйдя на индустриальную стадию, страна так и застряла на ней, что именно отличало нашу “мощную индустриальную промышленность” от западной, которая достаточно естественно и органично эволюционировала в постиндустриальную стадию? И можно ли было преодолеть это различие без определенного регресса? Таких жестких утверждений, предполагающих так и не заданные вопросы, немало почти в каждом интервью.

Нежелание эксплицировать предпосылки и следствия своих суждений порой не позволяет нашим респондентам замечать неявные (а иногда и явные) противоречия в собственных ответах. Одно из наиболее распространенных противоречий мы уже отмечали в предыдущих главах: слабую связь дававшейся характеристики основного содержания переживаемой ситуации с ответом на вопрос, в какой сфере принимаемые решения окажут на ситуацию наибольшее воздействие. Но встречаются противоречия и более явные. Так, один из известных экономистов времен перестройки, выступающий с резкой критикой политики Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса, утверждает: “Народная приватизация” по Чубайсу плодит не собственников, а мелких рантье, которые не способны влиять на деятельность своей “собственности”. Буквально через одно-два предложения он же замечает: “Ваучер – очень странная государственная ценная бумага, с самого начала рассчитанная на то, чтобы стать предметом скупки по дешевке”. Очевидно, что принятую стратегию приватизации можно критиковать за то, что она реально лишает “простых людей” их доли собственности в пользу финансовых структур, выступающих как потенциальные крупные инвесторы (с этой точки зрения противники ваучерной приватизации “с левого фланга” противопоставляли ваучерам приватизацию через трудовые коллективы или именные приватизационные чеки). Можно также, как это неоднократно делалось, упрекать ваучерную приватизацию в том, что она не создает реального собственника, и в этом смысле противопоставлять ваучерам денежную приватизацию, инвестиционные конкурсы и т. п. Но чтобы ругать ее за оба недостатка сразу, надо, видимо, просто “знать”, что “приватизация по Чубайсу” – это плохо. И факт этот должен быть достаточно психологически силен, чтобы “снимать” в сознании явные противоречия.

Выше мы в основном приводили примеры высказываний с более или менее “консервативного” фланга. Но от подобного рода противоречий не страхуют и самые либеральные воззрения. Так, один из наших самых “радикально либеральных” экономистов клеймит правительство за сохранение государственного вмешательства в экономику и государственной собственности и сочувствует “инженеру из отраслевой экономической конторы – их все позакрывали, а их было довольно много”, как будто не замечая, что при последовательно либеральной политике в отсутствие капитала для инвестиций безработных инженеров вообще, не говоря уж об инженерах из “контор”, было бы неизмеримо больше. И при этом еще и вполне оправданные жалобы: “...Неразвитый человек, несамостоятельный, неотчетливый не берет и не хочет. Ему нужно коллективно... Это очень довлеет над сознанием людей, которые здесь живут... Формы и источники социальных конфликтов будут все те же самые. Это ... борьба тех, кто не хочет уходить из-под этой государственной социалистической опеки, против тех, у кого есть энергия и кто готов свое дело начинать и делать. Таких будут отстреливать. Как сейчас фермеров отстреливают...” Но можно ли при подобном настроении населения сохранять политическую демократию и при этом проводить “одномоментную” радикальную либерализацию экономики, и какой ценой ее при этом придется осуществлять, – вопрос не только не обсуждается, но даже не задается.

Еще одна распространенная особенность, больше уместная в выступлениях публицистов, нежели ученых, – декларативность и абстрактность. Причем нередко такими суждениями отвечали на вопросы, предполагавшие максимальную конкретность. Эта особенность нередко отличала и рассуждения, выстроенные по форме максимально теоретически.

Вот несколько примеров из, пожалуй, наиболее развернутого и теоретического интервью, поясняющих нашу мысль. (Просим прощения за длинные цитаты, но именно эту особенность можно проиллюстрировать лишь достаточно обширными фрагментами). Ответ на вопрос, кому реально принадлежит контроль за собственностью в нынешних условиях и в чем конкретно он может в этих условиях проявляться: “Контроль за собственностью во всех ее формах – это не только функция собственника, это функция общества и его полномочных органов, государственных органов, потому что контроль за использованием собственности осуществляется им. Есть огромный мировой опыт, когда, начиная с пользования землей и до обустройства ее и строительства жилья, хотя все эти процессы происходят в чисто частной собственности (и земля частная, и строения частные), за ними осуществляется контроль за уровнем ее использования, степенью загрязнения, соблюдением неких обусловленных правил поведения. Есть контроль за соб-

ственностью, который связан с налоговой системой, включая налог на наследство. Это тоже функция контроля. Я считаю, что контроль не противоречит многообразию форм собственности, не противоречит признанию частной собственности, а осуществляется исходя из неких общепринятых ценностей, не нанося ущерба и вреда другим. Это соответствует и демократическим принципам и так далее. Что касается государственной собственности и государственного контроля, то здесь мы часто подменяем понятия ... мы путаем государство и правительство. Правительство осуществляет контроль, исходя из неких законов. Мы можем ограничить деятельность правительства, не допускать произвола исполнительных органов власти на местах, в центре, чтобы оно не могло произвольно вмешиваться, менять правила игры и так далее. Одно дело, когда государство, исторически сложившееся, со своей системой ценностей, с балансом сил и так далее в принципе охраняет все виды собственности, не позволяет использовать одни во вред другим, осуществляет глобальный общественный контроль, другое – деятельность правительства, которая должна быть ограничена”. Известный социолог, отвечая на тот же вопрос, выразился куда короче, и, казалось бы, конкретнее, но по сути еще более абстрактно и декларативно: “старой и новой номенклатуре и нуворишам”.

Или ответ экономиста на еще более конкретный вопрос – каким группам выгодна в настоящий момент инфляция, а каким – финансовая стабилизация: “Я не хотел бы противопоставлять отдельные социальные группы. Дело в том, что наш анализ привел к выводу о том, что существует некий общенациональный интерес...”

На вопрос о том, что определяет в настоящий момент “веер возможностей” развития, реалистичность или нереалистичность тех или иных мер: “Что же касается “веера возможностей”, – он достаточно широк в деталях, хотя признание генетической заданности процесса истории и глобальных общемировых тенденций устанавливает определенные границы, в рамках которых этот выбор может быть эффективным. Выход же за границы “веера” всегда трагичен, ведет к серьезным жертвам и делает проблему необратимой”. Другой респондент, социолог, чье интервью так же было одним из наиболее “теоретизированных”, на тот же вопрос отвечает: “Современная задача России формально однотипна с той, которая стояла (и стоит в новых формах) перед Западом. Условия ее решения всегда конкретны (для США или Японии в той же мере, как и для России). Эти условия (впрочем, меняющиеся в ходе самих реформ) обуславливают границы веера возможностей. Степень вероятности решения этой задачи соответствует мере развития самостоятельных начал в жизни общества (т. е. собственно гражданского общества). Факторы, способствующие или препятствующие такому развитию, опять же нельзя просчитать априорно”.

Погоня за теоретической основательностью, фундаментальностью вообще порой оказывает респондентам дурную услугу, мешая обратиться к реальному содержанию исследуемых явлений. Иногда в интервью встречалась некая “ложная системность”: респонденты выдвигали какой-то теоретический конструкт, иногда даже одно единственное понятие, выступающее как универсальная объяснительная модель для всего многообразия рассматриваемых феноменов. Причем основанные на таких “моделях” объяснения нельзя назвать ложными – просто они не объясняют ничего, кроме ценностной, моральной, идеологической позиции их автора и, в лучшем случае, теоретической перспективы, в которую он, автор, помещает рассматриваемые им процессы.

Бесполезность подобных подходов для анализа реальных процессов сильнее всего бросается в глаза в тех случаях, когда авторы сопровождают теоретические рассуждения конкретными примерами или рекомендациями: и наблюдения, и рекомендации могут быть вполне разумными, но просто и эти объяснения и рекомендации, и множество других, ничуть не хуже, можно было вывести и из любой другой теории (или вообще без всякой теории).

3. “Свой путь” России как фокус “дефектов рефлексии”

Как мы уже отмечали, от перечисленных особенностей мышления не “страхуют” ни либеральные, ни левопатриотические, ни даже умеренные взгляды. Но все же, насколько можно судить из текстов интервью, некоторые взгляды и “сюжеты” дают для них больше простора. Так, некритическое использование понятий, декларативность, противоречивость и игнорирование общеизвестных фактов нигде не проявились так наглядно и не переплетались так тесно, как в рассуждениях о “своем пути” для России, которая не может повторять ход развития других стран. С точки зрения содержательной, к нашему огромному удивлению, мы увидели, что соображения наших респондентов по этому поводу если и не слово в слово, то “мысль в мысль” совпадают с известной речью министра времен тогдашней перестройки в сатирической поэме А.К. Толстого “Сон Попова”:

Искать себе не будем идеала
Ни основных общественных начал
В Америке. Америка отстала:
Там собственность царит и капитал.
Британия строй жизни запятнала
Законностью, а я уж доказал:
Законность есть народное стесненье,
Гнуснейшее меж всеми преступленьем.
Нет, господа, России предстоит,

Соединив прошедшее с грядущим,
Создать, коль смею выразиться, вид
Который называется присушим
Всем временам. И став на свой гранит,
Имушим, так сказать, и неимушим
Открыть родник взаимного труда.
Надеюсь, вам понятно, господа?

В монологе, действительно, практически нет ни одной мысли, которая так или иначе не перекликалась бы с утверждениями кого-то из респондентов, говорящих о “собственном пути” России как о чем-то необходимо отличном от общемировой траектории развития. Любопытно, что при этом ни один из сторонников этих взглядов не вспомнил, что в истории России уже была эпоха, когда она имела полную возможность свободно развиваться “своим путем”, в полном соответствии с ценностями и “ментальностью” ее народа. Начиная с конца семидесятых годов прошлого века, когда не слишком сильные принудительные меры, сопровождавшие “внедрение” александровских реформ, окончательно сошли на нет, и вплоть до Столыпина, вновь прибегнувшего к “сильным” мерам государственного вмешательства в социально-экономические процессы, Россия развивалась уж точно своим путем, в соответствии с этими “ценностями”, “ментальностью” и т. п. Чтобы узнать, каким оказался тогда “российский выбор”, вчерашние верные последователи В.И. Ленина могли бы перечесть книгу “Развитие капитализма в России”.

Более того, поклонники общинных традиций России ни разу не вспомнили, что в истории ее, по крайней мере со времени отказа от подсечно-огневого земледелия, никогда не были отмечены традиции совместной обработки земли силами общины и совместного распоряжения продуктами труда. А “совместная” обработка земли в крупных хозяйствах существовала только на помещичьих землях, и колхозы, с этой точки зрения, были наследниками не общины, а помещичьих хозяйств.

Все эти “школьные” факты успешно игнорируются довольно значительной группой респондентов-ученых с помощью не слишком детально поясняемых понятий, декларативных суждений и морализаторства.

С другой стороны, те же авторы любят ссылаться на опыт Японии, которая сумела найти свой путь, не копирующий Запад. При этом вновь никто не вспомнил, что на этот путь Японию в 1946–1948 годах “поставил” генерал Мак-Артур, командовавший оккупационной армией США. И что развитие по этой модели означало разрыв с очень многими национальными традициями страны. Но одним из главных инструментов “модели” была именно либерализация и ликвидация разно-

го рода ограничений, начиная от распоряжения землей и кончая диктатором государственно-монополистических объединений “дзайбацу”. Когда был раскрыт гигантский потенциал самоорганизации, развитие само “разобралось”, какие национальные традиции выжили и укрепились, а какие отошли в прошлое в два-три десятилетия.

4. “Неэкспертность” подхода в суждениях обществоведов

Еще одну особенность сознания большинства обществоведов, участвовавших в нашем интервью, можно охарактеризовать как “неэкспертность” подхода. Еще раз оговоримся: эта характеристика затрагивает не уровень компетентности, разумности, интересности высказываний, а подход их авторов, перспективу, в которой они рассматривают процессы. Это – подход, более характерный для традиционной “академической” науки и политической публицистики, а не для того “прикладного обществоведения”, которое служит базой для принятия практических решений.

Большинство ответов наших респондентов как бы изначально не нацелены на тот анализ, который мог бы послужить непосредственной базой для принятия ответственных решений. В интервью можно встретить множество характеристик того, что делается плохо (или, реже, хорошо), что именно является дурным, аморальным, несправедливым, преступным. И с большинством этих характеристик трудно не согласиться. Но почти никто из обществоведов не пытается проанализировать ситуацию в терминах реальных противоречий и конфликтов между реальными группами, которые стоят за любым возможным решением, оценить реальное соотношение сил между этими группами, реальные факторы, обеспечивающие возможность или невозможность того или иного развития событий. В редких интервью хоть как-то анализируются совпадения или противоречия между интересами финансового и производственного капитала, директоров промышленных предприятий и внешних инвесторов, реальной и возможной роли банковского капитала. Еще меньше – о различиях в интересах между различными секторами промышленности. Лишь в одном интервью упоминались “базовые отрасли” как специфический объект финансовой и промышленной политики; нет ни одного упоминания о конфликте интересов экспортно-сырьевого и обрабатывающего секторов, наукоемкой промышленности и “массовой” “оборонки” или тех же “базовых отраслей”, о том, что развитие каждого из этих секторов требует особой финансовой, инвестиционной, промышленной политики, плохо совместимой с интересами развития остальных. Почти нигде не отмечались реальные препятствия “нормальной” приватизации: отсутствие средств

у национальных инвесторов, скверная экономическая конъюнктура, практическое отсутствие на момент интервью фондового рынка и процедуры оценки реальной стоимости активов. Нигде не пытались реально посмотреть, к чему именно может привести та или иная альтернатива проводившейся “умеренно жесткой” финансовой политике и какими средствами можно и нужно будет удерживать экономику от гиперинфляции, да мало ли на что еще, о чем можно было прочесть на полосе “Бизнес” многих ежедневных газет.

Этот подход, ориентированный на понятия “хорошо”, “полезно”, “справедливо”, “необходимо” (“дурно”, “вредно”, “несправедливо”), а не на реальный анализ “игры сил”, соотношения различных “групп давления” и их возможностей, наглядно проявился в ответах на уже упоминавшийся вопрос, чьи позиции закрепляет инфляция, а чьи – финансовая стабилизация. Из обществоведов лишь один (причем гораздо теснее связанный с реальной политической деятельностью, чем с академической наукой), отметил, что финансовая стабилизация подрывает позиции чиновничества, противопоставив им “значительную часть предпринимателей, промышленников, государственных директоров”. Но даже он не увидел принципиальной разницы по этому параметру между двумя “типами” производства: конкурентоспособными предприятиями, которые готовы привлечь частного внешнего инвестора и нуждаются для инвестиций в финансовой стабилизации, и неконкурентоспособными, заинтересованными в распределении инвестиционных ресурсов через бюджет через механизмы инфляционного финансирования при содействии тех же чиновников.

Практически ни в одном интервью не было даже “микроэлементов” того, что можно назвать “сценарным подходом”: попыток сформулировать реально существующие альтернативы, оценить реальный “коридор возможностей” – осуществимость и возможные последствия тех или иных альтернативных решений на разные сферы деятельности. Это особенно ярко проявилось в многочисленных высказываниях с критикой “Гайдара и его команды” (на момент интервью они еще не отделялись слишком резко от правительства Черномырдина): никто из критиков не попытался проанализировать реальную ситуацию на момент реформ, реальные условия, в которых проходила приватизация, не упомянул о мощнейшей оппозиции первоначальным планам денежной приватизации и о том, существовала ли возможность провести приватизацию вопреки интересам директорского корпуса.

Нам кажется, что подобная несклонность анализировать реальные механизмы, реальный “расклад сил” тесно связана еще с одной характерной чертой общественного сознания интеллигенции вообще (как она проявилась по всему массиву интервью) и обществоведов в особенности: с тем, что можно назвать “презумпцией управляемости социаль-

ными процессами” или “презумпцией рационального управления обществом”. Чаще всего она проявляется в обвинениях в адрес правительства и “реформаторов” в том, что они нечто “допустили” или “не сделали”, без попыток разобраться, а можно ли было это сделать и какой ценой. Несколько реже – в высказываниях о том, что “следует делать”. Если исходить из этого признака, едва ли не большинство респондентов неявно убеждены во всеилии то ли власти, то ли каких-то других агентов, в чуть ли неограниченной их возможности реализовать “правильную” стратегию и в очень широких пределах управлять ходом вещей, включая даже ценностные и нормативные ориентации (“нравственность”), не говоря уже об экономическом поведении субъектов. (В этом последнем случае речь идет не о создании властью тех или иных стимулов, а фактически о неявно постулируемой возможности заставить людей и институты действовать вопреки их непосредственным интересам, да еще в период объективного распада ценностной системы и объективной же слабости государства)

Даже “свой путь”, которым должна идти Россия, основанный на особенностях психологии ее народа, мыслится не как то, что народ, в соответствии со своими особенностями, выберет и чему будет следовать, если ему не слишком мешать, а как нечто, что ему, народу, следует “дать”.

Что же касается “нравственности”, – в высказываниях не делается особого разграничения между воздействием на формирование таких норм – долгосрочным косвенным воздействием элит на массы – и чем-то вроде “внедрения” “правильных” ценностей и норм на основе возможностей государства. Любопытно, что многие респонденты говорили о сфере нравственной, духовной как о той сфере, в которой предстоит принимать наиболее важные для хода вещей “решения”. А ведь из контекста вопросов было очевидно, что “решения” понимаются не размыто, метафорически, а вполне буквально – как решения, которые будут приниматься явным образом и проводиться в жизнь.

Сами формулировки, используемые респондентами, порой демонстрируют вполне “просветительское” отношение к социальной реальности. Судя по ответам, явления, которые в реальности формируются “естественно исторически”, сознательно или бессознательно воспринимаются респондентами как результат каких-то разумных целенаправленных мер. Так, уже неоднократно цитировавшийся нами политэкономом в своем, действительно, очень развернутом, рефлексивном и познавательном интервью замечает: “вся система гражданского общества должна быть тщательно продумана, взвешена...” Характерна и “проговорка” также цитированного нами социолога. Утверждение, что в России сегодня невозможен капитализм, он аргументирует, в частности, следующей метафорой: “нельзя склеить разбитую чашу”. Таким

образом, даже развитие капиталистических отношений – процесс весьма и весьма стихийный, видится ему чашей, которую нужно склеивать, а не, например, деревом, которое может вырасти вновь на месте срубленного. Высказываниями, явно или неявно выражающими подобный взгляд, можно было бы заполнить не один десяток страниц.

С этой убежденностью связана и уверенность в том, что современные знания об обществе позволяют определять и проводить в жизнь долгосрочный курс действий. При этом имеются в виду не “идеалы” и даже не абстрактные цели вроде “социально ориентированной экономики”, “постиндустриального общества”, “демократических свобод” или “прав человека”, а куда более конкретные цели, “задающие” грядущему обществу “параметры” социально-экономических отношений, нормы и ценности. Одним словом, многие респонденты убеждены в нашей (своей?) компетентности и праве решать за будущее. Характерно, что один из самых распространенных упреков в адрес “инициаторов реформ” – то, что у тех не было ясной концепции, четко заданного наперед видения общества, которое они хотели бы “построить”. Хорошо известная сегодня принципиальная неопределенность социальных процессов (математически описанная в рамках синергетики, в частности, в понятиях бифуркации и “странного аттрактора”) или столь же хорошо известный из исторической социологии факт подвижности, изменчивости ценностей и целей в расчет просто не принимаются.

Вера в теоретическую и практическую возможность целенаправленных глобальных социальных преобразований – один из “синдромов” советского обществоведения. Однако, в отличие от многих других синдромов, о которых мы будем говорить ниже, он, видимо, не специфичен для советского или постсоветского обществоведения. По крайней мере, Карл Поппер, который больше полувека назад дал весьма подробное и развернутое описание и критику этого феномена, возводил его еще к Платону. Поппер определял подобный подход к социальной реальности как “утопическую инженерию” и противопоставлял ему подход, который в русских переводах называют “поэтапной инженерией”, “методом частных социальных решений” и т. п., сводящийся, по сути, к идее, что проблемы следует решать по мере их поступления, осознания и появления средств для их решения¹. В наших интервью широко представлены оба этих подхода, к чему мы еще вернемся.

¹ “Утопический подход можно описать следующим образом. Каждое рациональное действие имеет определенную цель. Действие рационально в той степени, в которой цель достигается сознательно и последовательно, причем выбранные средства должны соответствовать этой цели ... В сфере политической деятельности эти принципы требуют, чтобы мы, прежде, чем предпринять некоторое практическое действие, определили нашу конечную политическую цель или идеальное государство. Только когда мы сформулируем ... конечную цель и получим нечто подобное проекту того

И последнее наблюдение. Все отмеченные особенности оказались нехарактерны или гораздо менее характерны для большой группы респондентов. Всех их сближают несколько особенностей. Во-первых, большее или меньшее тяготение к взглядам, которые мы в начале данной главы охарактеризовали как “второй пучок”. Хотя и среди них отрицательные оценки действий, например, Гайдара и Чубайса встречаются достаточно часто, но иным является сам пафос, позиция, с которой оценивается политика: более прагматическая, исходящая из понимания особенностей условий и неизбежной очередности в решении проблем. Далее, среди тех, кто принадлежит к этой группе, сравнительно мало ученых. Из ученых в ней оказались, в основном, экономисты, известные еще с “доперестроечных времен” как специалисты, занимающиеся вполне конкретными “техническими” проблемами экономики: оптимизацией инвестиций и материальных потоков, организацией производства и т. п., и не претендовавшие ни на разработку глобальных экономических теорий, ни на радикальное совершенствование производственных отношений, ни на “рациональную оптимизацию” социалистического народнохозяйственного механизма в целом с использованием математических или иных методов. (Среди респондентов этой группы есть, правда, и один экономист, известный именно многолетней работой по внедрению экономико-математических методов, но в основном в приложении к относительно частным, конкретным задачам.) А больше всего среди них журналистов, пишущих на экономические темы. Именно на экономические: один из самых известных в эпоху перестройки радикальных демократических журналистов, выступавший на социальные и политические темы, обнаружил все те же особенности, что и его идейные противники левопатриотической ориентации. Очень редко проявлялись перечисленные особенности и в “контрольной группе” – у двух американских обществоведов, из которых, по крайней мере, один придерживается весьма левых взглядов (и по ин-

общества, к которому стремимся, – только тогда мы можем начать анализ наилучших способов и средств воплощения этого проекта.

... Общественная жизнь так сложна, что лишь немногие, а может, вообще никто могут оценивать проекты широкомасштабной социальной инженерии – иначе говоря, решать вопросы, осуществим ли такой проект, приведет ли он к действительному улучшению, какого рода возможные страдания могут наступить в процессе его воплощения, каковы средства его реализации... Проекты, предлагаемые поэтапной инженерией, относительно просты. Эти проекты затрагивают, как правило, какое-либо одно социальное учреждение, например, здравоохранение, обеспечение занятости, ... построение государственного бюджета в условиях экономического спада... Прийти к разумному соглашению относительно существующих зол и средств борьбы с ними легче, чем определить бесспорное социальное благо и приемлемые для всех пути его достижения”. **Поппер К.** Открытое общество и его враги. Т.1. М.: Международный фонд “Культурная инициатива”, с. 200-201.

тервью, и по его выступлениям в московских “тусовках” социалистической и социал-демократической (но не коммунистической и левопатриотической) ориентации. С содержанием их высказываний можно соглашаться или не соглашаться, но дискурс и аргументация вполне корректны и даже позволили им подметить многие особенности и проблемы, которые в “массовой элитарной литературе” того времени и в наших интервью не отмечались.

5. Методологический кризис постсоветского обществоведения?

Сделанные наблюдения наводят на определенные размышления о прошлом и нынешнем состоянии нашего обществоведения и общественной мысли. Важнейшая их особенность, насколько можно судить из наших интервью, была блестяще сформулирована Мерабом Мамардашвили во фразе, взятой в качестве эпиграфа к данной работе. Эта черта всякого идеологизированного сознания оказалась в удивительном резонансе с традиционной особенностью “интеллигентского сознания”, упоминавшейся в первой части настоящего исследования: примата ценностных аспектов над инструментальными, и в частности, чисто профессиональными¹. Не случайно, например, для вполне серьезных ученых ценностные коннотации соответствующих понятий оказываются важнее чисто профессиональных требований к использованию понятия. Однако столь явную вольность в обращении с понятиями и суждениями нельзя объяснить одним лишь “интеллигентским комплексом” и “идеологизированностью”. В конце концов, они присутствовали и раньше, до перестройки, но столь явно в характере дискурса не проявлялись – методологические стандарты действовали строже. Здесь, по нашему мнению, проявился еще один важный фактор, характерный уже не для “интеллигенции” вообще, и даже не для советского, а именно для постсоветского, точнее, “постмарксистского” обществоведения.

О воздействии долголетнего господства марксизма в его “советской” форме на наше обществоведение говорилось много. Однако на один методологический результат такого воздействия до сих пор редко обращали внимание. Господство единой универсальной объяснительной и методологической модели, по существу, сообщало всему советскому обществоведению характер “стандартной науки” в смысле Т. Куна – с единой парадигмой, подразумевавшей единые правила рассуждения и, главное, единообразное толкование фундаментальных по-

¹ См.: Российская элита: опыт социологического анализа. Ч. 1. Концепции и методы исследования. М.: Наука, 1995., с. 14-18.

нятий¹. В восьмидесятые и даже в семидесятые годы фактический, хоть и не декларируемый, плюрализм позиций среди советских философов, да и других обществоведов, был уже достаточно широк. Однако, в отличие от всех известных в истории обществоведения “расколов”, “школ” и т. п., содержание понятий, иерархия их фундаментальности, правила рассуждений оставались более или менее едиными независимо от позиций исследователя. Советский философ позитивистской ориентации говорил более или менее тем же языком, что и, например, философ, близкий к христианству. Это правило соблюдалось и в других общественных науках – по крайней мере на уровне наиболее общих, фундаментальных понятий, имеющих методологическое значение.

Зато с дискредитацией марксизма как универсальной парадигмы советское обществоведение на какое-то время постиг методологический, в том числе и понятийный “беспредел”: принудительное, идеологически навязываемое единство языка обществоведческого дискурса исчезло, а многолетней “автоматической” привычки рефлексивно относиться к используемым понятиям, договариваться о терминах, критически воспринимать собственные методологические позиции как нечто относительное и неуниверсальное – ничего этого не было наработано.

Это явление, которое легко проследить на общественно-научных, а еще сильнее – на “около общественно-научных” изданиях, – часть более широкого процесса, который можно назвать “регрессией к обыденному сознанию” (или, если кому-то больше нравится, – к “здравому смыслу”, в зависимости от того, что именно акцентируется: положительные стороны “здравого смысла” или ограниченность “обыденного сознания”, ведь “обыденное сознание” и “здравый смысл” тоже принадлежат к числу охарактеризованных выше понятий-стереотипов и выбираются по принципу предпочтительных оценочных коннотаций).

Отсюда и незаметная регрессия от жестких понятий к размытым стереотипам, являющимся, фактически, омонимами строгих терминов.

Однако, как видно уже из настоящей главы, как раз “здравый смысл” – чуткость к явлениям и процессам реального мира, не описываемым в понятиях той или иной теории – иногда либо вовсе исчезает из высказываний респондентов, либо проявляется лишь в свойственных ему ограничениях. Это и составляет один из элементов уже упоминавшейся “неэкспертности” профессионального сознания. И тому тоже должно быть объяснение. Как и достаточно странному факту, что декларативность, идеологизированность, “неэкспертность”, “утопическая инженерия” в смысле Поппера встречались у ученых гораздо чаще, чем у публицистов.

¹ См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1974. Именно отсутствие единых парадигм отличает, по мнению Т. Куна и его многочисленных последователей, общественные науки от естественных.

Известно, что на протяжении всей своей истории наши общественные науки и их результаты не служили базой и инструментом принятия сколько-нибудь серьезных политических или экономических решений. Более того, даже формулирование, трактовка, публичное обсуждение через каналы научных коммуникаций собственных фундаментальных проблем науки подчинялось внешним для них требованиям государственной идеологии, и окончательное решение по этим проблемам принималось за пределами профессионального сообщества.

На протяжении нескольких поколений на долю общественных наук оставалось в основном обоснование решений, принимавшихся по мотивам, не имеющим отношения ни к науке, ни к оптимизации. Отсюда понятно, что “экспертный подход” к реальности у обществоведов должен был развиваться гораздо слабее, чем универсалистский – ценностный и теоретический. А доминирование этого подхода, в сочетании с уже упомянутой особенностью “интеллигентского” сознания образованных кругов царской России и СССР, предопределило и ориентацию на “утопическую инженерию”. Но почему от этого оказались относительно свободны журналисты, которым особенности “обыденного интеллигентского сознания” должны были бы быть куда ближе, чем ученым?

Здесь нам снова придется вернуться к некоторым моментам, отмеченным в первой части исследования. Помимо очевидных идеологических и политических ограничений развитие “экспертного” сознания сдерживалось вполне естественным тормозом – отсутствием “рынка”, “заказчика” для такого рода работ. В этих условиях обществоведам для подлинного профессионального утверждения оставалось либо заниматься более или менее отвлеченной теорией, избегая – за исключением общеобязательного “ритуала” – пересечений с “актуальными” идеологическими или социально-экономическими проблемами; либо изоциряться в приспособлении “спускаемых сверху” положений к уже существующему корпусу теоретических положений – так, чтобы впоследствии с этими положениями можно было “работать”, не теряя “научного лица”; либо медленно, исподволь вводить необходимые для сохранения науки инновации, заботясь при этом не столько о строгой научной, методологической корректности и валидности, сколько об идеологической приемлемости. Или, наконец, уходить в достаточно частные профессиональные проблемы, самым специальным характером защищенные от пересечения с идеологией или от обвинений в посягательстве на сложившееся распределение власти и полномочий. Были, разумеется, и исключения, но, кроме редких периодов “оттепелей” и “либерализацией”, они обычно дурно кончались для их инициаторов.

Все это выработало специфическую традицию дискурса, специфические стандарты коммуникаций, критерии принятия или отвержения результатов.

Когда же идеологические и политические ограничения на обсуждения проблем исчезли, – тут-то и проявилась неподготовленность научного, теоретического аппарата отечественной экономики, социологии, политологии к решению новых задач, задач попперовской “инженерии частных социальных решений”. Чтобы решать эти задачи, нужно было выходить за рамки имеющегося аппарата – т.е. в сферу “здравого смысла”. И тут обнаружились явные преимущества публицистики как формы осознания реальности. У публицистики не было необходимости “перестраивать” аппарат прежде, чем приступить к анализу реальных процессов, у нее было гораздо больше опыта в оперировании понятиями обыденного сознания и более явные стандарты такого оперирования: журналисты (и те обществоведы, которые стали выступать как публицисты) с самого начала знали, что “говорят прозой”, относились к здравому смыслу и его категориям достаточно рефлексивно. И, наконец, от журналистики гораздо раньше, чем от обществоведения, требовались элементы “экспертного подхода” к оценке ситуации. Требования “рынка” и профессиональные нормы ориентировали журналистов-аналитиков “качественной” прессы на практический, т.е. многоаспектный анализ реальных процессов и тенденций и “предъявляли спрос” на здравый смысл в сочетании с “узкопрофессиональными знаниями” по тем вопросам, о которых пишешь.

Эта ситуация привела к парадоксальному феномену: “качественная” журналистика оказалась подвержена эффекту идеологизированности меньше, чем наука. Это декларативное утверждение легко верифицировать, сравнив, например, публикации “качественной” прессы, даже ежедневной, со сборниками “Куда идет Россия” – публикациями семинаров Интерцентра, где ученые выступают не с академическими текстами, а с краткими выступлениями, где они не связаны особыми методологическими стандартами и обсуждают ситуацию “по существу”, как эксперты.

Подобное состояние науки может быть лишь переходным. И такой переход уже идет. В массиве наших интервью об этом свидетельствуют, пусть и немногочисленные, интервью представителей академической науки, где вполне строгая – для данной ситуации – системность сочетается с рефлексивным, критическим подходом и достоинствами здравого смысла. В какой степени эти достоинства обусловлены новыми возможностями социальной теории, а в какой – здравым смыслом, пока сказать трудно. Но “точки роста” уже видны.

Однако, как показывает история науки и общественной мысли, модернизация теоретического аппарата, стандартов дискурса и, осо-

бенно, профессионального сознания – процесс длительный. Пока же, видимо, оптимальным следует признать именно “методологически культурный здравый смысл” – приоритет адекватности перед фундаментальностью при соблюдении выработанных обществоведением методологических требований и стандартов систематизированного дискурса: строгого контроля используемых понятий, “связности сознания”, учета известных фактов и положений или же их вполне эксплицитного опровержения и т.п. Именно те интервью, в которых эти требования соблюдались наиболее полно, и оказались самыми конструктивными, т.е. способными пролить новый свет на ситуацию, помочь людям определить свое отношение к происходящему, создать базу для выработки практической политики на перспективу.

В.И. Скрышник,
президент АО “Энергофининвест”

РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА И СТРАТЕГИЯ РЕФОРМ

Нередко бывает так, что оценки и выводы, над которыми мучаются ученые и политики и которые они пытаются пространно сформулировать, просто и точно излагают мыслители-писатели. Так, я думаю, что критерии кардинального выбора модели общества, перед которым встали народы в XX веке, весьма удачно выразил С.Н. Булгаков. Он писал, что наилучшей из всех хозяйственных форм, как бы она ни называлась, и какую бы комбинацию капитализма и социализма, частной и общественной собственности она не представляла, является та, которая наиболее обеспечивает для данного состояния личную свободу – свободу от природной бедности и социальной неволи.

Россия свой выбор еще не сделала. Допустим, что развилку пути с левым указателем “социализм” она уже миновала. Но проблема выбора осталась. Она проявляется в существовании в обществе различных подходов к выбору модели организации жизни общества и прежде всего функционирования экономики. Кому-то может показаться, что спор идет о деталях, на деле же эти “детали” способны предопределить облик общества в целом. Действительно, выбор между усилением и ослаблением роли государства в экономике, между сохранением старых технологических схем или развертыванием научно-технического прогресса, между устойчивым и перспективным ростом потребления на базе наукоемкого производства или поддержанием потребления на базе экспорта углеводородных энергоносителей, цветных металлов и продукции низших переделов – этот выбор предопределит будущее России.

Необходимость сделать правильный выбор сегодня еще более актуальна, чем несколько лет назад. Период попытки радикальных экономических реформ, основывавшейся на “рыночном романтизме”, миновал. Его итоги не вселяют оптимизма. Новый этап требует разработки и принятия национальной концепции развития рыночно-конкурентной экономики. При этом нужно ответить на вопрос: является ли западная отлаженная экономика воплощением во всех своих основных чертах универсальных принципов и общезначимых решений или она представляет собой лишь частный случай в мировой экономической практике, который порожден национальной спецификой и который